

ЧАСТЬ I

Глава 1

Смерть мне не к лицу. Я ношу ее, как чужое пальто, оно соскальзывает с плеч и волочитя по грязи. Смерть мне не по размеру. Мне неудобно в ней.

Я хочу стряхнуть ее, зашвырнуть в шкаф и вернуть мои былые наряды, они сидели на мне как влитые. Я не хотела бросать старую жизнь, но теперь надеюсь на новую — надеюсь, что когда-то и я буду прекрасна и полна сил. А пока что я заперта.

В разрыве между жизнями.

В лимбе¹.

Говорят, неожиданные расставания легче. Меньше боли. Но это не так. Мера боли от долгих прощаний при затянувшейся болезни куда лучше, чем ужас угасшей внезапно-негаданно жизни. Ужас насильственной смерти. В день, когда я умерла, я шла по туго натянутому канату между двумя мирами, шла без страховки, все поддерживавшее меня изорвалось в клочья. С одной стороны пропасти — безопасность, с другой — беда.

Я сделала шаг.

И — умерла.

Помнишь, мы, бывало, шутили о смерти? Тогда мы были так молоды, так полны жизни... Казалось, что смерть — это то, что случается с другими.

¹ Лимб (лат. *limbus* — рубеж, край) — в католицизме место пребывания не попавших в рай душ, не совпадающее с адом или чистилищем. (Здесь и далее примеч. ред., если не указано иное.)

— Как думаешь, кто из нас умрет первым? — спросил ты однажды. Уже наступила ночь, вино закончилось, мы грелись у электрической печки на моей съемной квартире в Бэлхеме, и твоя рука, словно невзначай ласкавшая мое бедро, смягчила те слова.

— Ты конечно, — не раздумывая ответила я.

И ты замахнулся на меня подушкой.

Мы встречались уже месяц, наслаждались телами друг друга и говорили о будущем, словно оно было чужим. Ни клятв, ни обещаний — только поле возможностей.

— Женщины живут дольше, — ухмыльнулась я. — Широко известный факт. Такова генетика — выживает наиболее приспособленный. Вот мужчины и не справляются.

Ты нахмурился. Опустил ладони на мои щеки, заставил меня взглянуть на тебя. Твои глаза казались черными в полумраке, и свет печи отражался в твоих зрачках.

— Так и есть, — сказал наконец. Я потянулась поцеловать тебя, но ты не отпускал. Твой палец на моем подбородке, кожа к коже... — Не знаю, что бы я делал, если бы что-то случилось с тобой.

От печки веяло жаром, но по спине у меня побежал холодок. Словно кто-то прошел по моей могиле.

— Перестань.

— Если ты умрешь, я тоже умру, — не умолкал ты.

Я остановила тебя в твоём юношеском стремлении драматизировать, стряхнула твои руки, высвободила лицо, но затем переплела свои пальцы с твоими, чтобы этот жест не обидел тебя. И поцеловала — вначале нежно, затем со все нарастающей страстью, пока ты не откинулся на спину и я легла на тебя. Волосы мои пеленой скрывали наши лица.

Ты умер бы ради меня.

Тогда наши отношения только начинались, то была искра — она могла погаснуть или разгореться ярким пламенем. Я не знала, не могла знать, что ты разлюбишь меня. Что я разлюблю тебя. Мне были так приятны глубина твоих чувств, исступление во взгляде.

Ты умер бы ради меня, и в тот миг мне казалось, что и я умерла бы ради тебя.

Я просто никогда не думала, что умереть кому-то из нас все-таки придется.

Глава 2

АННА

Элле уже два месяца. Глазки закрыты, длинные темные ресницы почти касаются розовых щечек, подрагивают, пока она ест. Растопыренные пальчики на моей груди — как морская звезда. Я сижу на диване как приклеенная и думаю обо всем, что могла бы сделать, пока кормлю Элли. Почитать. Посмотреть телевизор. Заказать продукты по интернету.

Не сегодня.

Сегодня не день для таких привычных дел.

Я смотрю на доченьку, и вскоре ее ресницы поднимаются — какой серьезный и какой доверчивый у нее взгляд! Зрачки голубых глаз — озерца бескорыстной любви, мое отражение в них — крошечное, но незабываемое.

Движения Эллы замедляются. Мы смотрим друг на друга, и я думаю, что материнство — величайшая тайна, ведь никакие книги, никакие фильмы или советы не могут приготовить тебя к этому всепоглощающему чувству: для крошечного человечка ты — целый мир. И этот человечек для тебя — целый мир. Я храню эту тайну, ни с кем ею не делюсь, да и с кем бы я поделилась? Меньше десяти лет прошло с тех пор, как мы закончили школу, а все мои подружки тратят время на парней, не на детей.

Элла все еще смотрит на меня, но постепенно ее взгляд подергивается пеленой, словно предутренний туман клубится в ее глазах. Веки опускаются, взметаются вновь, но дремота берет свое. Ее посасывание — всегда такое жадное вначале, затем спокойное, мерное — замедляется, между глотками проходит пара секунд. Затем малышка останавливается. Она спит.

Я поднимаю руку и осторожно нажимаю пальцем на грудь, высвобождая сосок изо рта Эллы, затем надеваю лифчик. Губы

Эллы еще двигаются какое-то время, но потом сон становится все крепче, и ее рот замирает, сложившись в идеально округлую «О».

Надо уложить ее. Воспользоваться временем, пока она спит. Сколько его будет? Десять минут? Час? Мы еще далеки от того, чтобы в нашей жизни установился какой-то распорядок.

«Распорядок». Ключевое слово для любой молодой мамы, единственная тема для разговора на утренних встречах, где мамы младенцев делятся друг с другом опытом. На эти встречи меня заставляет ходить наша патронажная медсестра, и я не очень-то этому рада: *«Она подолгу спит? Знаешь, ты бы попробовала метод контролируемого плача. Джину Форд читала?»*

Я киваю, улыбаюсь, говорю: *«Да, непременно попробую»* — и стараюсь подойти к какой-нибудь другой молодой маме. К кому-то другому, не столь непреклонному. Мне плевать на распорядок. Я не хочу, чтобы Элла разрывалась от плача, пока я сижу за столом и пишу на своей страничке в «Фейсбуке» пост о «кошмаре материнства».

Ужасно плакать оттого, что мама не приходит. Не нужно Элле такое переживать.

Она ворочается во сне, и вечный комок в моем горле словно раздувается. Когда малышка не спит, все видят, что она — моя доченька. Когда друзья говорят, как она похожа на меня или Марка, я этого не замечаю. Я смотрю на Эллу — и вижу Эллу. Но когда она спит... когда она спит, я вижу свою маму. Под пухлыми младенческими щечками проступают знакомые черты нижней части лица в форме сердца, и по линии роста ее волос я понимаю, что в грядущие годы моя дочь будет проводить часы перед зеркалом, пытаясь укротить дерзкую прядку, растущую под другим углом — не так, как все остальные.

Видят ли младенцы сны? Что может сниться им? Они ведь так мало знают о мире. Я завидую спящей Элле, и не только потому, что такой усталости, как сейчас, я не ощущала никогда до того, как родила ребенка. Я завидую ей, ведь когда она спит, ей не снятся кошмары. В своих снах я вижу то, о чем не могу знать. Вижу версии случившегося, описанные в полицейских отчетах и выводах судмедэксперта. Вижу раздутые, обезображенные

водой лица своих родителей. Вижу страх в их чертах, когда они падают со скалы. Слышу их крики.

Иногда бессознательное милостиво ко мне. Не всегда в пространстве моих сновидений родители падают, временами они летят. Я вижу, как они делают шаг в бездну, разводят руки и падают над синим морем, а брызги волн ласкают их смеющиеся лица. Тогда я просыпаюсь спокойно, и улыбка играет на моих губах, пока я не открываю глаза и не понимаю, что с тех пор, как я провалилась в сон, ничего не изменилось.

Девятнадцать месяцев назад мой отец взял машину — самую новую и дорогую, — выехал на ней со двора собственного автосалона, за десять минут добрался от Истборна до мыса Бичи-Хед, оставил машину на стоянке, не закрыв дверь, и пошел на край скалы. По пути он собрал камни, чтобы тяжесть утащила его на дно. А затем, когда прилив набрал полную силу, сбросился с обрыва.

Я знаю все эти факты, потому что мне дважды пришлось слушать подробные объяснения судмедэксперта. И в первый, и во второй раз мы сидели с дядей Билли, слушая отчет об обеих неудачных спасательных операциях береговой охраны, и, хотя судмедэксперт был предельно тактичен, от деталей дела становилось только больнее. Я смотрела себе под ноги, пока давали показания специалисты по приливам и статистике выживаемости, пока сообщали данные по уровню смертности. И зажмурилась, когда судмедэксперт зачитал вывод: причина смерти — самоубийство.

Семь месяцев спустя, не справившись с горем, мать последовала за ним, столь точно воспроизведя обстоятельства его смерти, что в местной газете написали о «подражании самоубийству». Смерти моих родителей разделяло семь месяцев, но они были связаны, а потому расследования объединили в одно дело и судебное решение вынесли на одной неделе. За те два дня я многое узнала, но ничего из услышанного не было действительно важным.

Я так и не выяснила, почему они сделали это. Если считать, что они вообще так *поступили*.

Факты казались неоспоримыми. Вот только родители не были склонны к самоубийству. Они не страдали от депрессии, тревоги

и страха. Они были не из тех людей, кто легко отказывается от жизни.

— Проблемы с психикой не всегда очевидны, — говорит Марк, когда я поднимаю эту тему, и в его голосе нет ни намек на раздражение оттого, что разговор ходит по кругу. — Самые сильные, самые жизнерадостные, казалось бы, люди могут страдать от депрессии.

За последний год я научилась держать свои мысли при себе, молчать о сомнениях, кроющихся под покровом моей скорби. Никто, кроме меня, не сомневается. Никому не кажется странным случившееся.

Впрочем, никто и не знал моих родителей настолько хорошо, как я.

Тишину прерывает телефонный звонок. Я жду, пока включится автоответчик, но звонивший не оставляет сообщения, и через мгновение у меня в кармане вибрирует мобильный. Даже не взглянув на экран, я знаю, что это Марк.

— Затаилась у спящей малышки, да?

— Как ты догадался?

— Как она?

— Ест каждые полчаса. Я все пытаюсь приготовить обед, да вот, никак руки не доходят.

— Ничего, я сам приготовлю, когда вернусь. Ты в порядке? — Что-то неуловимо меняется в его голосе, никто другой бы этого не заметил. Но я слышу подтекст в его интонации: *«Ты в порядке, учитывая, какой сегодня день?»*

— Нормально.

— Я могу пойти домой.

— Все в порядке, правда.

Марку определенно не хотелось бы уходить с семинара, не доведя дело до конца. Он коллекционирует сертификаты, как другие люди собирают подставки под бокалы или заграничные монеты. У него уже столько званий, что все эти аббревиатуры не помещаются на визитке — через каждые пару месяцев он заказывает себе новые карточки, и наименее важные звания теряют свое место в конце списка и забываются. Сейчас он посещает

семинар на тему «Роль сочувствия в отношениях психотерапевта и пациента». На самом деле ему этот семинар не нужен, его умение сочувствовать клиенту было очевидным для меня с самых первых минут, когда я перешагнула порог его кабинета.

Марк дал мне выплакаться. Протянул мне упаковку салфеток, сказал не торопиться. Говорить только тогда, когда я буду готова, не раньше. А когда я перестала рыдать, но все еще не могла подобрать подходящие слова, он рассказал мне о стадиях скорби — отрицание, гнев, торг, депрессия и принятие, — и я поняла, что еще не прошла первую стадию.

Через четыре сеанса Марк, вздохнув, сообщил, что больше не может работать со мной, и, когда я спросила, что я сделала не так, он сказал, что возник конфликт интересов и ему очень жаль, ведь это так непрофессионально, но, быть может, я согласилась бы принять его приглашение на ужин?

Он был старше меня — по возрасту ближе к моей маме, чем ко мне, — и казался человеком необычайно решительным, хотя эта решимость и контрастировала с волнением, иногда видимым за его маской спокойствия, как в тот момент.

— С удовольствием, — не раздумывая откликнулась я.

Потом он говорил мне, что скорее чувствовал себя виноватым в том, что прервал наши сеансы, чем в нарушении профессиональной этики, запрещавшей вступать в отношения с пациентами. «Но я уже *не твоя пациентка*», — возразила я тогда.

Марк до сих пор переживает по этому поводу. Я напоминаю ему, что люди знакомятся в разнообразнейших ситуациях. Мои родители встретились в одном лондонском ночном клубе, его родители — в отделе замороженных продуктов в супермаркете «Маркс-энд-Спенсер». А мы с ним познакомились на восьмом этаже здания в Патни, в кабинете с обитыми кожей креслами, и мягкими шерстяными покрывалами, и табличкой на двери: «Марк Хеммингс, психотерапевт. Прием только по записи».

— Как скажешь. Поцелуй за меня Эллу.

— Пока.

Я первой сбрасываю звонок. Знаю, сейчас Марк прижимает к губам телефон, как и всегда, когда он погружается в раздумья.

Ему пришлось выйти в коридор, чтобы позвонить мне, и ради этого он пожертвовал кофе, или общением с коллегами, или чем там занимаются тридцать психотерапевтов, когда их отпускают на перерыв во время семинара. Сейчас он присоединится к остальным, и я не смогу связаться с ним в ближайшие пару часов, пока он будет учиться демонстрировать сочувствие клиенту, даже если речь идет о совершенно надуманной проблеме. Необоснованной тревоге. Пустяшной утрате.

Он хотел бы поработать над моими проблемами. Но я ему не разрешаю. Я перестала ходить к психотерапевту, когда поняла, что никакие разговоры в мире не вернут мне родителей. В какой-то момент все мы доходим до того этапа, когда боль, которую ты ощущаешь, это просто грусть. А от грусти нет лекарства.

Скорбь — сложное явление. Она подступает и отступает, она столь многогранна, что от любых попыток проанализировать это состояние у меня начинает болеть голова. Я могу не плакать несколько дней, а потом задыхаться от рыданий, сотрясающих тело. В какой-то момент я могу посмеяться с дядей Билли над глупостью, когда-то сказанной папой, а уже в следующий меня будет переполнять гнев от эгоистичности его поступка.

Гнев — худшее во всем этом. Раскаленная добела ярость — и вина, неизбежно приходящая следом.

Почему они так поступили?

Я миллион раз прокручивала в голове события дней, предшествовавших папиной смерти, задавалась вопросом, что я могла сделать иначе, чтобы предотвратить это.

«Твой отец пропал».

Помню, я нахмурилась, читая эту эсэмэску и раздумывая, в чем тут шутка. Вообще-то я жила с родителями, но в те дни уехала на конференцию в Оксфорд и как раз болтала за завтраком с коллегой из Лондона. Прервав разговор, я отошла и позвонила маме:

— В каком смысле «пропал»?

Мама говорила сбивчиво, слова давались ей через силу, будто она с трудом припоминала их значение. Вчера вечером они